# 174.

**А. Ф. Воейкову**

*10 сентября <1814 г.> Чернь*

Сентября 10. Чернь

Так, *обстоятельства переменились, и теперь ты хочешь быть лучше виноватым передо мною, нежели перед совестью; а время всё откроет.* Не знаю,

что это такое таинственное, что должно быть открыто временем. Кажется, тебе передо мною скрывать нечего. Всё доброе, хоть бы оно было и моим выгодам противно, не может быть для меня ни оскорбительно, ни скрыто. При дружбе всё хорошо. Но обстоятельства переменились. Так, очень переменились! Тогда, когда ты мог только в моей *зеленой горнице* и с одним мною делать ткань *своего*

*счастья*, — тогда мои мысли были твои мысли, тогда эта горница была лучшею для тебя в муратовском доме. Тогда были в ней минуты сладкие. Твое верное и мое мечтательное счастье было впереди, и ты считал меня товарищем на дороге к этому счастью. Одним словом, *мой* образ жития был тогда *твоим*, и этому совесть твоя не противилась. Могу даже сказать, что ты с бóльшим жаром, нежели я, его держался. Вспомни твое послание к Екатерине Афанасьевне, о котором никто, кроме меня, не знает, и которое у меня хранится как документ *тогдашнего образа* твоих мыслей1. Желаю знать, для чего совесть не запретила тебе написать его! Вспомни письмо об Арбеневой к Тургеневу!2 И не ты ли первый говорил и с Кавелиным и с Тургеневым?3 (С первым совсем без моего позволения.) Не ты ли воспламенил их? Не ты ли вместе с Тургеневым выдумал план писать к архиерею4 — план, который последний исполнил как друг и о котором совсем забыл; наконец, не ты ли заставил думать и Сашу согласно с нами, заставил ее желать того же, чего я желал, думать так же, как я думал?.. А письмо Ив<ана> Влад<имировича>?5 Кто его требовал, и к кому оно писано? И кто после называл Ив<ана> же Владим<ировича> сумасшедшим?.. Одним словом, всё было прекрасно до последнего приезда твоего из Рязани6. Тут обстоятельства переменились. Ты *свое* имеешь, и моя зеленая горница, в которой было *столько сладких минут*, в которой так мы *мечтали*!!! о будущем *нераздельном* счастье, которую ты так убирал для 20 августа7, потеряла свою прелесть! В ней остался я один с худым своим настоящим, которое надобно было пожелать сносить и которое мне одному ты оставил на плечи; я не слыхал в ней ни одного утешительного слова; ты мог быть мне товарищем для будущего счастья, но товарищем для настоящего горя быть не мог. (Может быть, для того, чтобы не тушить пожар соломою.) Я был точно *один.* Именно в ту минуту жаркая дружба твоя переменилась на холодность и невнимательность, в которую надлежало бы ей усилиться, — я сделался сам и угрюм, и холоден. Это натурально. Я до комедий не охотник. А искать утешения нельзя. Надобно, чтобы оно само приходило. Просить дружбы как милостыни невозможно. Если эта холодность твоя ко мне была угождением для Екатер<ины> Афанасьевны, то тем хуже для нее. Ей нельзя было тебя за нее благодарить — какая надежда на человека, который по случаю и времени меняет сердце и располагает дружбу, то есть личину дружбы. Настоящая же дружба не так действует. Я знаю, что моя холодность меня же представила с дурной стороны для Е<катерины> Аф<анасьевны> (кого не хочешь видеть хорошим, тот во всем будет дурен), но что же делать? Носить на себе маску не умею и не хочу, хотя бы и умел. Пускай называют это неискусством жить и незнанием людей. Что бы ни было со мною, а так лучше. Чего бы я от тебя требовал и каким бы хотел видеть тебя — право, сказать не умею! Поэтому и не скажешь тому, кому собственное сердце этого сказать не умеет. Я чувствовал всякую минуту, что всё не так; может быть, в ином и ошибался, но это иное было в мелочах, а в главном я прав. Итак, пускай моя зеленая, пустая и навсегда пустая горница напоминает тебе о некоторых сладких мечтах *твоего* счастья, которые сбылись, которые делил я ото всего сердца, которые рад бы и всегда делить даже и без примеси *собственного*; но для меня она не напомнит ни одного часа, в который бы ты делил мое настоящее, не мечтательное горе. Помню несколько разговоров, после которых я успокаивался, — меня легко успокоить! Ни с кем так не легко быть искренним, как со мною (но искренним, и чтобы дело служило подпорою словам), — но эти разговоры, в которые всегда я сам тебя заводил, которые всегда оканчивались хорошо, потому что я всегда иду навстречу доверенности, были минуты приятные, но разрушаемые после *делом*. После всякого разговора я оставался с искренним уверением, что я ошибся, и всегда это уверение исчезало. Вспомни наш последний разговор8. Я говорил тебе: мне ничто так не нужно, как иметь к тебе доверенность. Твое дело не в том, чтобы иметь какойнибудь успех, — я невозможного не требую. Мое счастье зависит не от тебя. Но от тебя зависит не переменяться, быть искренним в мыслях, не жертвовать ни для кого тем мнением, которое ты имел, которое согласно с моим. Не твое дело, что другие не имеют его; ты имел его прежде, имей и теперь. Я требую

от тебя только одного: будь прямодушен. На этом основано ваше семейственное счастье и наша дружба. Если не останемся вместе, то по крайней мере будем друзьями. Твое прямодушие нужно менее для меня (я от тебя не завишу), но для тех, которых судьба связала тесно с тобою.

В ответ на это ты сказал мне, что мнение твое не переменилось, что ты ни перед кем его не скроешь. Послушай, если бы ты не согласен был со мною в образе мнений, но сказал бы это прямо и не теперь, когда это сказать нужно, а прежде, когда тебе не было никакой от этого пользы, мог ли бы я тебя обвинить. Нет! Есть люди, которые иначе думают, не как я, но которых участие трогает меня сильно, и я не желал бы ничего иного, как только того, чтобы Екат<ерина> Афан<асьевна> могла то же ко мне чувствовать, что они, — тогда бы мы могли быть счастливы. Но дело не об том.

Помнишь ли, что я еще прибавил? я сказал, что теперь желал бы, чтобы

Екат<ерина> Афан<асьевна> только *согласилась*, что уверена, что она в первые только минуты была бы менее счастлива, но что вся моя жизнь употреблена была бы на то, чтобы ее успокоить и что я надеялся в этом успеть?

Ты говорил: что моего дурного о себе мнения боялся более чахотки! Что тебе нет никакой причины *желать* моего удаления! Что так же думаешь, как и прежде, то есть считаешь образ мыслей Е<катерины> Аф<анасьевны> за предрассудок и прочее. И через минуту ты же говоришь совсем противное с Машею;

твердишь ей о грехе, уверяешь ее, что нет никакой возможности; что совесть это запрещает; что ты старался по крайней мере узнать, точно ли я сын моего отца, нельзя ли кому-нибудь другому им назваться; и, наконец, спрашиваешь у нее иронически, угодно ли ей, чтобы ее мать пошла в монастырь для нашего

счастья9, — и всё это здесь, час после такого разговора, в котором я открыл тебе прямо свое сердце. А ввечеру не при мне ли Маша просила у тебя прощения со слезами, и в чем же? В том, что она на тебя рассердилась! Но за что? Боже мой! За то, что ты вздумал ее утешать и сказал ей с душевным участием и милою ирониею: не плачьте, милый друг! Мы выдадим Вас за Жуковского! А маменьку посадим в монастырь! Всё будет прекрасно! И потом, оборотившись к Саше, прибавил: а ты, невинная душа! Ты не знала, что он в твою сестру влюблен и что твоя сестра влюблена в него! — вот оно, твое прямодушие! вот твое участие и твоя дружба! Но кто же этой невинной душе открыл мою привязанность к Маше и кто заставил эту невинную душу ее оправдывать? Не ты ли сам? Послушай! Видеть *грех* в нашем союзе не есть большая вина — и не требую от Е<катерины> А<фанасьевны> противного, я требую от нее сожаления, участия, дружбы, одним словом, возможного, именно того, чего особенно мог бы требовать от христианки, которая своему образу мыслей приносит в жертву всё драгоценное. Но она в этом-то и отказывает. Но видеть в этом союзе *грех* только в угождение другим и соглашаться с обстоятельствами, это уже не одно заблуждение — это лицемерство; а если присоединить к этому и то, что, показывая такое мнение (с которым в сердце не согласен, которому прежде противное показывал), жертвуешь другом, то поневоле скажешь — предательство! Для тебя в отношении ко мне обстоятельства не переменились; что ты прежде думал, не бывши мужем Саши, то можешь и должен думать и теперь, став ее мужем. Но ты в одной горнице говорил одно, а в другой другое. Так! В моей зеленой горнице *просияла для тебя заря блаженства.* Но на что же ты говоришь? *Его приязнь заманила меня в Муратово; его доброму обо мне мнению обязан я Сашею*. Совсем наоборот! Я и теперь повторю то же, что сказал прежде, в одном из писем моих к тебе в Петербург10. Благодари Провидение, которое вселило в тебя мысль посетить Жуковского! Но прибавлю: благодари за то, что оно дает тебе способ быть истинно счастливым, только не разрушай этого способа! На-

сколько я заметил, мне кажется, что ты не знаешь своего счастья и по сию пору (а это еще лучшие, первые минуты) не нашел способ им наслаждаться! Твоя нежность к Екат<ерине> Афан<асьевне> слишком явная, чтобы быть истинною; ты не имеешь к ней в душе своей той благодарности, которою ей обязан; я *знаю*, что ты ее не имеешь. А Саша, милая, добрая, покорная Саша, сколько раз уже она от тебя плакала. Если это так продолжится, когда же будет *блаженство*! Нет! Ты не моему доброму мнению обязан Сашею — ты сам знаешь, что значило мое мнение в Муратове! И как всё сделалось! Правда, твоя дружба ко мне, которая из такой дали привела тебя в Муратово, была первым твоим успехом — но всё остальное сделалось без меня! И я бы только испортил, если вздумал тебе помогать. Ты сам не один раз в этом со мною соглашался. Тогда мое доброе мнение принадлежало тебе, и если бы у меня его спросили, то оно тебя же бы оправдало. Но когда Ек<атерина> Аф<анасьевна> спросила у меня, какой ответ тебе сделать, то я сказал: *согласитесь, но оставьте себе право отказать.* Это ты знаешь. Что же? согласились и тотчас начали писать рекомендательные письма. Я помню, что ты сам благодарил меня за такой совет; *без такого требования твоего*, сказал ты, *так бы скоро не согласились.*